красная книга русской прозы

Евгений Замятин

Мы

роман, повести, рассказы



Алатырь

Евгений Иванович Замятин

Аннотация
Евгений Замятин. Алатырь
1. От грибов принаследно
2. Кошка Милка исправницкая
3. Князь
4. Молитвы
5. Великий язык
6. Епархия зелененькая
7. В серебряные леса
8. Святочные происшествия

Аннотация

«…Так бы и впредь под благословением божиим городу жить, да вышло такое дело: царь турецкий войною пошел. Народу побили видимо-невидимо. Приехал тут из губернии начальник и строго-настрого приказал: через год – была чтоб тыща младенцев, и больше никаких. Потому – война. …»

Евгений Замятин
Алатырь

1. От грибов принаследно

На том самом месте, где раньше грибы несчетно сидели кругом алатыря-камня, — тут нынче город осел.

И у жителей тех, видимо дело — от грибов принаследно, пошло плодородие прямо буйное. Крестили ребят оптом, дюжинами. Проезжая осталась только одна улица: вышел указ — по прочим не ездить, не подавить бы младенцев, в изобилии ползающих по травке.

Так бы и впредь под благословением божиим городу жить, да вышло такое дело: царь турецкий войною пошел. Народу побили видимо-невидимо. Приехал тут из губернии начальник и строго-настрого приказал: через год — была чтоб тыща младенцев, и больше никаких. Потому — война.

Алатырцы не выдали: поставили тыщу, да с гаком еще. А начальник-то — возьми да и похвали:

— Богатыри! Исполать, мол, вам.

Ну, сглазу, конечно, и съел. Перестали в Алатыре мужние жены детей приносить. А еще того хуже: как вот рыба в реке переводится — так

перевелись в Алатыре все женихи. И пошло, и пошло неплодие.

Срам обуял неслыханный: вековуши — в Алатыре, а? Сроду того не бывало. И не то чтобы как, а и в самых первых домах: у протопопа соборного — раз, у Родивона Родивоныча у инспектора — два, у исправника… Уж на что исправник сам, и у него на руках — Глафира.

А ведь только поглядеть на Глафиру: ростом высошенька, волос русый, глаз сверкучий, вся наливная — как спелая рожь. На рояле Глафира может: «Касту Диву», «Дунайские волны». И такая, поди ж ты, немужней осталась, не нынче завтра начнет осыпаться.

Целый день в исправницком доме кукушкой кукует гулко тоска. А чуть засинеет вечер — Глафира к окну: напротив, через дорогу, номера для приезжающих купца Агаркова — не загорится ли там огонек?

Будто загорелся. Горбоносый, сел кто-то к столу писать. Завтра утром, чуть свет, к Глафире в окошко стучит половой из номеров: «От барина — вам письмо…»

И жарко живет Глафира всю ночь. Утром — нету письма. Ну, что ж, стало быть, завтра принесут.

Долго ли, коротко ли, но только в одно вос-

кресное утро — из номеров половой и впрямь заявился с письмом. Запершись в светелке своей, разорвала Глафира конверт.

— «Милостивая государыня. Зная вашу красоту и любезность, осмелюсь предложить вам…»

Руки затряслись, буквы запрыгали от радости.

— «…наилучшую рисовую пудру, а также спермацетовые личные утиральники…»

В тот день Глафира к обеду вниз не сошла: заперлась в своей светелке, просидела весь день. Вечером в столовой уставилась — и битый час, как пришитая, глядела в клетку с кенарем и кенаркой (выписал ей исправник из Москвы специально). Глядела-глядела, да как схватит клетку-то эту, да об пол ка-ак шваркнет: от кенаря с кенаркой только мокро осталось. А уж когда ей исправник слово сказал, что, мол, этак нельзя с подарками, она так раскричалась, растопалась — еле исправник ноги унес.

Исправник с исправничихой держали совет: что такое с Глафирой? С чего девка сбесилась?

— Эка штука, пудры ей предложили. Разве это инцидент? — удивлялся исправник. И все свои брюки подтягивал, все подтягивал: это всегда было у исправника знаком душевного волнения.

А брюки носил исправник на вате стеганные:

простудлив был очень, сложения слабого — замухрыш, одно слово. Зато уж исправничиха — женщина росту серьезного, бурудастая, грудастая, а глас у ней — трубный. Как крикнет на мужа, трубным-то голосом:

— Да ты что там мямлишь? Инцыдент, инцыдент… Какой ты есть градоначальник, ежели, как дочь свою пристроить, не изобретешь?

Подумал-подумал Иван Макарыч — и, видно, придумал что-то: наверх, на исправничиху, поглядел этак гордо:

— Я-то? Не изобрету? Очень даже просто: надо Глафирочку на службу определить. С ритуальной, так сказать, целью. Поняла?

Почесала исправничиха в голове спицей:

— А и верно, глядишь. Ума ты палата, Иван Макарыч.

Сказано — сделано. Ходит Глафира на телеграф, год и другой. А к ритуальной цели — ни на шаг. Хоть бы так, для виду, кто приволокнулся: никого.

Тут Иван Макарыч рукой махнул на Глафиру, на все — и в кабинет заперся. Уж если по правде — так только в кабинете у Ивана Макарыча и была настоящая жизнь. Незабвенные часы тут проводил Иван Макарыч, здесь возникали все ве-

ликие и многочисленные его изобретения: состав для полнейшей замены дров в безлесных местах; тайна приготовлять не уступающий настоящему искусственный мрамор; особливый способ домашним путем производить отменные стекла для зрительных труб. И наконец, это многообещающее открытие последних дней: секрет печь хлебы не на дрожжах, как все, а на помете голубином, отчего хлебы будут вкуснейшие и дешевые гораздо. В какой-то книжке старинной откопал исправник этот секрет — и взялся за дело.

Иван Макарыч так полагал: делать — так уж делать на широкую руку, а не то чтобы там. Задешево, по случаю, приобрел восемнадцать пудов муки. А там — пекаря свои, даровые: арестанты из острога. Голубиный — не покупать этот самый…

— Пеки, ребята, сыпь в мою голову!

Пекли калачи, пекли. Таскали арестанты, таскали. Сперва в кабинет. Кабинет завалили, вылезли в зал, под рояль, на рояль. А кругом калачей Иван Макарыч гоголем ходит.

В ту пору исправница на богомолье была, у Стефана Болящего, у прозорливца. Вернулась, калачи увидала да как взъестся трубным-то гласом:

— Да господи-батюшко! Придумал ведь тоже: на голубином! Весь дом напоганил теперь…

— Да ты — на, отведай сперва, а потом толкуй.

— Чтобы я — да этакую погань? Да избави меня Бог, я еще в своем уме. И завтра же чтоб было чисто, хоть за окно. А то… знаешь?

Знал Иван Макарыч. Загорюнился, жалко нещечко-то свое кидать вон. Эх, как бы это… Подтянул исправник свои ватные брюки раз и другой.

— Бб-а! А Потифориха-то? А ну, Кошкарев, доставь.

Торговала на базаре Потифорна, Псалтырь читала, всякую боль заговаривала: от грызи, от срыву, от свербежа, от сглазу, от всего облегчить могла на все руки. На отшибе, в завалящем проулке, разыскали Потифорну и мигом представили перед исправником. Отмахнула Потифорна поясной поклон: зачем, мол, понадобилась?

— Да что, Потифорна, с докукой к тебе. Калачи вот видишь? Возьмись-ка на базаре продай, а уж я…

— И-и, отец, нам ли не служить? Только молви.

Петр-Павел рябинник минул, пошли уж студеные утренники. Взяла с собой на базар Потифорна с угольем теплый горшочек и, сидя на том горшочке, торговала три пятницы калачом.

— Э-эх, калачи хороши — для спасения души,

по-осненькие!

Рядом слепец, с деревянной баклушей, свою присказку ведет:

— Пр-равославные христианушки, от роду-рода-родов, от веку-века-веков, солнца кра-асного…

А зипун — чередом идет, кто с новой дугой, кто с лыком, кто с поросенком — дешевый калач закупать.

Через три пятницы пришла Потифорна к исправнику — так, мол, и так, расторговалась вашей милости калачами, ни одного не осталось.

Иван Макарыч уж вот как доволен: не для-ради денег, а для-ради чести своей пред исправничихой.

— Ну, Потифорна, проси чего хочешь, так ты меня ублажила.

— Уж коли милость твоя такая, так нельзя ли, отец, Костюньку мово в люди бы вывесть? В чиновники то есть. Хороший он малый, да только вот…

— Что — только?

— К сочинениям пристрастен. Сочинения, батюшка, все сочиняет, и день — и ночь, и сидит — и сидит, уж такое мне горе. Да вот глянь-ка, милостивец.

Покопалась за пазухой, вытащила Потифорна

прошение, сочиненное Костюней на случай неизвестного благодетеля.

— Мм… да, скоропись хорошая, — поглядел исправник.

«Прошение. Я обладаю естественной любознательностью ко всему ученому миру, в связи чего решил подготовить себя к литературной службе. И просьба к помощи, ввиду неимения аванса, прямо посещать училищную скамью.

Моя краткая биография из жизни: я воспитан в кругу нежных забот единственной матери, но не могу отплатить ей тем же, и хотя бы к старости лет ей пожить развязно.

Вот прискорбный факт покинутых сирот. Подпись: Константин Едыткин».

Походил исправник, подумал. Прошение — ничего, забористое, надо бы малого устроить, как-нибудь надо бы…

— Ну, а что, например, ежели мы его на телеграфиста приготовим, а? Глафира моя — она ведь по этой части.

— На телеграфиста? На чиновника? — затряслась Потифорна.

— Ну да, на чино…

И кончить исправник слова не успел, как Потифорна в ноги — кувырк. Только и видать: пучочек

седых волос на затылке да куча старушечьего темного платья. Искусница Потифорна — поклоны бить.

2. Кошка Милка исправницкая

Поутру на Покров нашлась кошка Милка исправницкая. Теперь лежала белая Милка в Глафириной комнатушке на антресолях, лежала — и молоком кормила своих четырех младенцев. Мурлыкала, жмурилась, вся извивалась белая Милка, сладко терзаемая четверкой розовых ртов.

Так это пронзило Глафиру, так затомилась, вся нецелованная, так запросила грудь касаний нежного рта, что хоть на стену лезь. А стены — гладкие, нет ни сучка, ухватиться не за что.

И вдруг нашла, ухватилась: вспомнила — толковал вчера исправник про какого-то Костю. Господи, может, Костя этот самый… Загорелось — сейчас же, сию же минуту туда поехать.

Для праздника, для Покрова, последний раз грело солнце. В завалящем проулке мирно купались куры в кучах назолу. Потифорна пред окошком читала акафист Пресвятой Богородице.

И вот — неслыханное дело — загремел тарантас в проулке. Ахнули куры, брызнули из-под копыт, акафист полетел на пол со страху.

«Батюшки, барышня исправникова! А дом не прибрат, а Коська — обормот чистый…»

Кинулась Потифорна к Косте с новым пинжаком:

— Да руки-то, оголтень, тьфу… Руки-то суй скорей!

И обернувшись к двери — соловьем тотчас же:

— Ма-атушка-барышня! Радость-то нам какая нынче для Покрова… Костюня, да кланяйся же!

Длинный, как скворечня, Костя нескладно поклонился, на жалостно-тонкой шее болтнулась большая голова. Был он похож на только что вынутого из яйца цыпленка: такие же бывают они длинношеие, все к костям прилипло, и качаются.

«Нет, не он… — в тоске еще пуще заметалась Глафира около гладких стен. Мелькало в глазах засиженное мухами, как будто небритое море. Мелькал в глазах верхом на белой лошади генерал, разрезанный пополам, как яблоко.

Потифорна совала Глафире в руки какую-то баночку.

— Кофий это, барышня, кофий. Вот сейчас заварю. Пять лет берегла для гостя дорогого, вот погляди-ка сама, какой кофий-то… В Воронеже покупала, где Митрофаний-угодник.

Взяла Глафира баночку. Был на баночке белый лев, похожий на кошку Милку, и какая-то надпись. Невидящими глазами читала Глафира надпись. И раз, и другой, и еще прочитала вслух:

— «Сей кофий, по приятности, подобен ливанскому. Но может быть употребляем, как настоящий».

И так это Глафире показалось нестерпимо, жгуче смешно, что закатилась — засмеялась — заихала — полились слезы, и сквозь слезы кричала:

— Кофий, л-ле… лев… Кошка Милка… Милка, Милка моя!

Потифорна тряслась, разливала воду из стакана Глафире на колени. А Костя во всю ширь раскрыл голубые глаза и не чуял, что выкатилась слезинка, повисла светлой каплей на кончике носа. Отдал — все бы отдал теперь — только бы она *перестала надрываться*, только бы унять ее слезы…

В своем сундучке, под замком, уж два года Костя целомудренно берег тетрадку: ни один живой глаз ее не видал. Была тетрадка озаглавлена: «Сочинения Константина Едыткина, то есть Мои».

И теперь пришел час: без малейших колебаний — так было надо — Костя пошел, вынул тетрадку

и положил на колени Глафире… Только бы перестала, только бы утешилась!

И правда: увидела Глафира заглавие — улыбнулась.

Заниматься к барышне исправниковой Костя ходил по вечерам — с шести. У Потифорны часы — Бог их знает: с той поры как для лучшего ходу был привязан к гире старый утюг — что-то стали часы лукавить. И так выходило, что Костя до сроку забирался задолго.

— Барышня кушают чай, погоди мало-мале.

В темной прихожей садился Костя на стул. Шепотком повторял про себя урок. Кухарка тащила мимо Кости в кухню ведерный самовар. Темным слоном влезала в прихожую исправничиха. Шарила шубейку на стене — в сени надо выйти, — во тьме натыкалась на Костю.

— Тьфу-тьфу-тьфу! Сгинь, окаянный, сгинь! Да это ты! Ух, провались ты совсем… Ну иди уж, иди, Фирочка чай отпила.

Костя светлел и лез наверх, в Глафирину светелку.

— Ну? — говорила Глафира сердито, сидя перед зеркалом, к Косте спиной.

Недавно Глафира открыла: стала у ней борода расти, может, только ей одной и заметные

золотые волоски. Плохой это знак: немножко еще, может, год, может, месяц — и начнут вянуть груди, вся начнет осыпаться и никогда не узнает того, что знала счастливая кошка Милка.

С сердцем Глафира выстригала по одному волоску, а Костя тачал — от сих и до сих. Все уроки он знал назубок, зубрил день и ночь — только чтоб она кивнула головой: хорошо, мол.

И все ж один раз было: Костя не мог ответить урока, стоял, как немырь, с покорной улыбкой. В тот раз Глафира торопилась в гости. В одном лифе, сидя перед зеркалом, закладывала старинную прическу: венком на голове — круг русой косы. Держала шпильки в зубах — с сердцем проговорила сквозь шпильки:

— Вше равно, шкажите, пушть идет, отвечает. А то некогда будет.

Костя вошел — и свету невзвидел. Зажмурил глаза и тотчас же не стерпел — открыл. Опять: кружева и розово-нежное что-то, такое, что… Сердце зазябло у Кости, заныло, забыл все слова.

— Некогда тут, а он как… — оглянулась Глафира, хотела прикрикнуть и — рассмеялась. Поняла.

— Подержите мне, Костя, зеркало. Так. А теперь вот сюда. Так. Ну, спасибо, довольно. Довольно же, ну?

Зеркало ходуном ходило. Костя молчал, а рот был растворен все той же, его покорной от века, улыбкой.

Назначили Косте экзамен наране Успенья. Жарынь стояла. Мух развелось — невесть сколько. Старушку одну — не владела она руками — так изжиляли, что ума решилась старушка.

Трудно было заниматься Косте. Весь иссиделся — как вот, бывает, иссидится наседка: выйдет из лукошка — и шагу ступить не может. Веснушками Костя зацвел, голова стала еще больше, обрезался озябший носик.

— Что, молодой человек, похудал? Какая такая заела болезнь? — увидал как-то Костю исправник.

— Эк-замен, — покорно улыбнулся Костя.

— Э-э, вот оно что! Ну не робей: я сам с почтмейстером потолкую…

Поехал Иван Макарыч к почтмейстеру. Почтмейстер — старикан трухлявый. К новому году выходит в отставку. Из носу сыплет табак — на бумаги, на письма; все уж кличет уменьшительно: очочки, телеграммочки, книжечка разносненькая. Такого Ивану Макарычу улестить — велико ли дело? И улестил.

Скор и милостив был Косте экзамен. И часу не

прошло — вышел Костя светел, что новенький месяц. Вернулся домой — в фуражке с желтым кантом, в новой форменной тужурке.

Увидала Потифорна чиновником Костю — в голос как взвоет да в землю — кувырь:

— Сергий Радонеж… угодники вы мои-и! Да разразите же вы меня-а! Чем я вам теперь отплачу-то за Коську?

3. Князь

Бывает, что хозяйка слишком любезная — в стакан чаю набутит сахару кусков этак пять: инда поперхнешься от сладости. Так вот и дворянин Иван Павлыч: лицо имел приятное, очень приятное, приятности — все пять кусков. Ходил Иван Павлыч в верблюжьей рыжей поддевке, в сапогах высоких, при часах французского золота с толстой цепочкой. И как Иван Павлыч первым всегда все знал, то принимали его алаторцы именитые очень охотно: тем и кормился.

Теперь проживал Иван Павлыч временно (третий месяц) у отца Петра, протопопа соборного. Очень полюбил протопоп Ивана Павлыча. Каждый день после обеда садились они на диван, именуемый Чермное Море.

— Ну, Иван Павлыч, давай, брат, опять поговорим отвлеченно.

Отвлеченно — про диавола, стало быть. По этой части протопоп был мастак. Будучи в академии еще, составил книгу: «О житии и пропитании диаволов». Ту книгу Иван Павлыч усердно прочитал.

– … А по мне, ваше преподобие, самые благочестивые — болотные черти, потому — семейно живут, неблудно и в муках рожают детей, — заведет Иван Павлыч умильно.

— А-а-а, это хохлики называемые? — обрадуется протопоп, глаза заблестят. — Шу-устрые этакие, знаю, у-ух!.. — И видимо, знает досконально: даже покажет, какого хохлики росту. И пойдет, и пойдет про хохликов: Ивану Павлычу — только слушай.

Нынче Иван Павлыч огорчил протопопа: поговорить отвлеченно не захотел, вот приспичило ему тотчас после обеда к исправнику бежать по какой-то экстренной надобности.

— Ну, что еще за экстра такая? — поглядел сердито исправник: занимался он в кабинете изобретениями — оторвал его Иван Павлыч.

Дворянин Иван Павлыч в руке держал книжку, вроде паспортной, что ли. Нагнулся к исправникову уху:

— Почтмейстер-то новый… в агарковских номерах…

— Э-е, ну тебя! Это я вчера еще знал.

— Да нет, Иван Макарыч, я не про то. Прописался почтмейстер-то — и представьте… Да что там, вот сами поглядите.

Взял паспорт исправник — обмер: почтмейстер-то новый… князь. Форменный! Князь Вадбольский, женат, разведен, и княгиня проживает в городе Сапожке, при отце своем протоиерее… Хотел исправник спросить что-то, не то про паспорт, откуда князев паспорт достал Иван Павлыч, не то еще что — и не мог от страху.

Ухмыльнулся Иван Павлыч предовольно — и от исправника дальше погнал резвым игрень-конем. Через час все в Алатыре знали про князя-почтмейстера. Вышло волнение великое. Ночь мало кто спал.

«Ежели наш князь разведен и в самом деле, то ведь… Марьюшка-то наша…» — такие тут вершины мысленные отверзались, что уж куда там спать.

Наутро у почты — длинный черед: вдруг всем загорелось марки покупать. Пронзенный десятками девьих взоров — князь шелохнуться боялся. Шелестел шепот, вился около князя:

— Вид-то благородный какой! Печать-то прикладывает как, а?

— Нет, ты глянь: подбородок-то…

А и верно: в подбородке — вся соль. Так — лицо как лицо. Скуластое, желтое, с зализами лоб, но подбородок…

Очень, конечно, странно — но подбородка у князя нет и в завете: губы, усы, а потом прямо — юрк под галстук, как будто оно так и надо. И давало это князю вид какой-то прищуренный, даже, сказать бы, коварный.

Мясоедом прошел слух: по утрам стал являться князь на базаре с кошелкой. Будто вот просто как все, ходил с кошелкой вокруг капустных вилков, веников из Мурома, наваги мороженой. Нет, тут что-то не так…

— Ходил-то, ходил. Нет, а ты вот скажи, что он купил на базаре? — добивался исправник.

— Гм, купил? Как будто ничего не купил.

— Вот то-то и оно: ничего… — Исправник торжествовал. — Не затем он и ходил, не покупать ходил, а слушать, да. Слушать, понял?

Слушать? Нет, видно, недаром у князя подбородок такой…

Опять без свадеб кончился мясоед. Колеи зажелтелись, затлели. Надсаживалось воронье по заборам, теплынь выкликало. Звонила капель. Пожаловала честная Масленица в Алатырь.

У исправничихи — полон рот хлопот: завтра князь-почтмейстер к исправнику зван на блины, князя умеючи надо принять. С чем-то князья блины кушают? Неуж, как и мы, грешные, с маслом

с топленым, с яйцом, со сметаной, с припекой, с снетком? Нет уж, для верности — надо бы сведущих людей спросить.

— Вот что, Иван Макарыч. Ступай-ка ты к Родивону Родивонычу сейчас и все у него прознай, он человек ведь придворный. Да зови его на блины: разговаривать-то князя кто будет? Да вертайся скорей… а то — знаешь?

Исправнику это хуже горькой редьки — ехать к Родивону Родивонычу. С того года, как получил Родивон Родивоныч *портрет и собственноручное письмо* — зазнался так, что житья с ним нет. И все ладит — в соборе чтоб раньше исправника к кресту подскочить. Этакой ведь фуфырь!

Смахивал Родивон Родивоныч на старого кочета, и сноровка такая же: все наскакивал.

— Сме-та-на? — на исправника так и наскочил, даже попятился Иван Макарыч. — Про сметану и думать не могите. Фидон: сметана. Исключительно: зернистая икра. А на ужин: бульон, свинья-соус-пикан… И вообще все легкое и французское.

Блины были в четверг. Из гостей был только князь да еще Родивон Родивоныч, инспектор. А то все свои. Константин Захарыч-то? Костя-то? Ну-ну, он за гостя нейдет: каждый день шляется

— какой уж там гость.

Костя сидел на самом конце стола, где стояли запасные тарелки. Выйдет блин неудачлив — с дырой, пузырем, без румянца — сейчас его Глафира сунет Косте:

— Ешьте, ну? Живо…

Костя брал, чуть касался ее руки, проколотый сладкой болью, — хоронился в тарелку, без счету, всухомятку глотал блины…

Исправник — сидел рядом с князем, погибал: надо было ему с князем разговор начать — и хоть бы одно проклятое навернулось слово! Всех высоких лиц исправник робел, а этот еще и какой-то прищуренный.

Молчал и князь. Все почтительно глядели на особенный его подбородок — и никто не видел растерянных князевых глаз.

…Князь глазами набрел наконец на исправников серебряный погон — и пальцем ткнул радостно:

— А-а у меня вот тоже…

— Ага, да-да-да, так, так, — закивал, засиял исправник.

– …у брата то есть. Брат в Москве приставом, четыре тыщи в год, без доходов.

Пауза. Исправник тонул.

— Кстати: я вот, знаете, изобрел из голубиного… — начал — и сейчас же осекся Иван Макарыч, поймав грозный исправничихин взгляд.

— Лучше уж, батюшка, ты — Родивон Родивоныч, князю расскажи, как получил письмо-то собственноручное.

Родивон Родивоныч — хозяйке поклонился придворно.

— Да, собственно, не стоит… Был я на выставке нижегородской. Как человек культурный… Проезд ведь от нас — два рубля двадцать. Хожу, значит, все очень прекрасно, одним словом, комса. Вдруг — генерал. Косу взяли доглядеть — и по пальчику: чик. Ну, значит, кровь. А я — человек в дороге запасливый, ваше сияссь… Вынул из кармана: не угодно ли, генерал, коллодию? А генерал-то был не простой, а можно сказать — вы-со-кая особа! Да вот, ваше сияссь, письмо-то оказалось при мне случайно…

Прищуренно князь читал… Глядела на него Глафира — никак понять не могла: да что же, да что же в этом лице знакомое — да нет, незнакомое даже, а вот такое…

С восьми часов вечера начался съезд: везли дочерей — танцевать с князем-почтмейстером. Какой-то пуганой зверушкой шмыгнул в уголок

отец Петр, протопоп: мохнатенький, маленький, как домовой. За отцом, в шелковом черном, гордо прошла Варвара-протопоповна. Торчали черно-синие космы: прибирать волос не умела — глядела Варвара ведьмой. Обнявшись, загуляли по залу восемь штук Родивон-Родивонычей. Сел за рояль дворянин Иван Павлыч — все в той же верблюжьей рыжей поддевке. Заиграл — и зацвела, завертелась вся зала.

Князь один стоял у печки, немножко боком. И на белом кафеле было так четко лицо, коварное, без подбородка, нос с чуть заметной горбинкой…

— Горбоносый! — чуть не крикнула вслух Глафира. Бросилась к князю. Тяжело дыша, крепко стиснула князеву руку — будто после долгой разлуки встретились наконец.

Глафира танцевала с князем, блаженно закрыла глаза. На стульях у стен девья орава — завидущая — шелестела, шептала. Ласково-зло улыбалась Варвара-протопоповна.

— Князь, — наскакивал Родивон Родивоныч, как кочет, — с вами хотят быть знакомы… мои вот… восемь, — конфузливо кончал он, очень стеснялся восьми: человек он почти что придворный, и вдруг — восемь!

Падал князь, огорошенный градом девичьих

имен, и к одной — счастливице — наклонялся:

— Угодно вам вальс?

Танцуя, князь наступил на хвост своей даме. Пришлось выйти из круга — как раз это случилось у рояля, и вострым своим ухом услыхал Иван Павлыч конец разговора:

– …Одеколоны — вот это я очень уважаю. Цикламен вот, и еще… как бишь? Корило… корилоспис, — с трудом вспомнил князь.

К ужину все доподлинно было известно: что князь — развратник, у него — одеколоны, и вообще — человек он темный.

— По-ми-луй-те? Гонял с девками целый вечер… что-о ж это? — с попреком качались седые букли.

Зато — девицы в восторге:

— Семь одеколонов, и на всякий день — свой… Уж видать: настоящий декадент (произносится: дъкадънт).

За ужином, после свиньи-соус-пикан, исправник выпил сантуринского, посмелел и, твердо глядя князю в глаза, произнес наконец:

— Кстати — я изобрел отменно дешевый способ производить хлеб…

Князь задумчиво глядел на Ивана Макарыча.

— Но что все изобретения для народов, покуда не будет у них общего языка?

Сказано это было раздельно и твердо. Все разинули рты: языка-а? Ка-ак? И окончательно утвердилась таинственность князя.

За ужином рядом с Глафирой сидела Варвара. Обнимала Глафиру за талию, ласково-злыми глазами глядела, медовые речи вела.

А когда у себя в светелке Глафира стала раздеваться на ночь — на кисейном платье увидала сзади дыру: выхвачен ножницами изрядный косяк. Сразу смекнула Глафира кто. Сердце зашлось от злости на Варвару. Может, оттого и заснуть никак не могла.

Встала. Приложила к стеклу к холодному лоб. Напротив, через площадь, в агарковских номерах, в окне теплел огонек. Схватила бинокль, прильнула — и вся заколыхалась под тонким мадаполамом, как рожь от ветра: у стола, раздетый, сидел князь, писал. Но что же, что? Ночью, в три часа… Наверное, завтра придет из номеров половой…

Князь писал письмо в город Сапожок. В правом углу на бумаге была вытиснена коронка.

«Милая Лена. У меня от подъемных остался 21 руб. Не надо ли тебе? Потому что здесь — жизнь простая, яйца лутшие — 18 копеек, я скучаю и мне денег не надо. Кланяйся Васи, я сердца на

него не имею, лишь бы ты была счастлива».

4. Молитвы

Костя за ужином не был. Исправничиха сказала ему:

— Константин Захарыч, ты у нас свой человек… Не прогневайся уж, стульев нехватка.

На нет — нет и суда. Костя не обиделся. Жалко только было отрываться от Глафиры: нынче Глафира — в белом платье — была совсем замечательная, прямо вот… божеская. Ну, тоже и князь, еще бы на него поглядеть.

Каждое мание князя — нравилось Косте, каждое слово его ловил. А когда услышал про одеколоны его — тут Костя уж совсем восторгнулся, закипели стихи в голове.

Пришел Костя домой — первым делом к укладке, вынул тетрадь — и сразу, с присеста, напечатлел:

Наш новый господин почместер
Замечательный человек.
А по мне раз в десять
Умнее тут всех.
И когда мне представлялся,

То мне рукопожал.
Я восхищался
И навек его уважал.

Потифорна ждала Костю с блинами. Мигом сварганила огонь в печке, первый, румяный, блин полила маслом, поставила Косте. Стал было Костя искаться: сыт уж, довольно.

— Господи-батюшка, уж теперь и лопать не хочет у матери у родной. Загордился уж, а? А не я ли тебя, поганца, и в люди-то, в чиновники вывела, а?

Не сговорить с маманей. С покорной улыбкой — Костя снова ел блины без счету: кипели еще стихи в голове — до счету ли тут было?

А наутро — катался по полу Костя, помирал животом. На почту не пошел: куда уж. И все хуже да хуже.

К прощеному дню — Костя обрезался, совсем посинел. Потифорна на своем веку покойников без числа поглядела, глаз наметался. С базара пришла, увидала Костю такого — как взвоет. Да скорей за отцом Петром: хоть бы христианской кончиной-то помер Коська.

Потифорна вернулась одна, отца Петра не застала дома. И тотчас строгим шепотом Костя

велел мамане сбегать к исправнику и позвать Глафиру.

И пошла Потифорна, как не пойти. Пошла, хоть и кропталась, утирая слезы: нет бы за доктором или за попом, а он за вертихвосткой этой посылает!

И когда возле себя увидел Костя ее — Глафиру, единую, божескую, — сдвинулся в нем какой-то столетний камень, и забил из-под камня из самой глуби хрустальный ключ: всего напоил, утишил, исполнил. Тихонько взял Костя Глафирину сладкую руку:

— Теперь… я должен сказать… Помираю, блинов объелся. И теперь вот… Нет, не могу я про это сказать словесно!

От жалости вся сморщившись, Глафира сказала:

— Ну, что вы, Костя, зачем? Ведь вы знаете, что я вас тоже… зачем говорить…

Костя улыбнулся прозрачно-покорно: теперь — хорошо помереть. Туман… Туманом заволокло Глафиру, последней ушла она от Кости. Конец, тихо все, сладко — и если б только маманя не брызгала в лицо водой… Но Потифорна все брызгала: Костя открыл глаза еще раз…

Так бы, может, Костя и помер, да втесался тут

отец Петр — с баклановкой со своей; баклановка у него была — ото всех болезней помога. В баклановке первое — конечно, водка, всем лекарствам мать; а в водку — красный сургуч толченый положен, да корень калган, да перцу индейского красного же, да еще кой-чего, что берег в секрете отец Петр.

С баклановки ли с этой огневой или просто с радости великой — стал Костя живеть помалу. На крестопоклонной встал с постели: еще ветром качало, зеленый, длинный — скворечня живая; Костин озябший носик — усох, стал еще меньше, еще жалостней.

Потифорна первым делом Костю поперла к отцу Петру, благодарить за баклановку.

— Ну-ну-ну, чего еще там, — замахал отец Петр на Костю. — Поговей постом — вот и все. Ну-ну, иди с Богом.

Протопоп сидел в углу — усталый, после обедни постовской; мохнатенький, темный — в угол забился. Несть числа у него в соборе говельщиков было. Кликали колокола целый день, шел тучей народ. С любострастием вспоминали все мелочи куриных грехов: медленный, мешкотный шепот в уши лез без конца.

Уходил протопоп из собора — будто медом об-

мазан и вывалян весь в пуху: мешает, пристало по всему телу. Одно только спасенье было: придя домой — выпить рюмку баклановки.

Перво-наперво после той рюмки — пойдет тончайший туманец в глазах, и все денное, налипшее гинет. Тихо — не спугнуть бы — пригнувшись, сидит отец Петр. А протрет глаза — и уж ясно видит настоящее, яснее, чем в сто крат, чем днем.

Тотчас за окном — веселая козья морда кивает:

— Здравствуй.

— Ну, здравствуй, ишь ты какой нынче!

В таком виде — любит их отец Петр. Вот если они принимают человечий зрак — нашей одежи не любят они, все больше голяшом — ну, тогда уж…

Приятную беседу с козьей мордой ведет отец Петр, пока не заслышит: Варвара идет. Тот — дикáрка, конечно: в одноножку, вприскочку, как малые ребята бегают. И видно отцу Петру: тряско подскакивает его левое плечо на бегу.

А голова у протопопа работает ясно-преясно:

— Не от рюмки же это, всякому видно: дело не в рюмке.

Когда приходила Варвара — глаз не открывая, спрашивал протопоп:

— Это ты, Собачéя? — и явственно видел у

Варвары зубы — злые, собачьи, черно-синюю шерсть.

— Что же мне с тобою делать? Опять ты? — кричала Собачéя злая, кусала отца Петра: в руки преимущественно и в ляжки.

Наутро, за чаем, заплаканная, говорила:

— Какая я тебе Собачéя? Ты что на меня возводишь?

Засучивал рукав отец Петр и показывал на руке:

— А это, а это — что?

И глядит не глядит Варвара, заладила свое:

— Знать ничего не хочу, к доктору надо тебя.

К доктору, хм… Нет, тут доктор не сведущ.

В Великий четверг — Варвара в лотке купалась на кухне. Иван Павлыч по городу шлындал, отец Петр сидел один.

И опять — тот же самый пришел, коземордый, и никто уже не мешал: всласть наговорился отец Петр. Очень интересные вещи рассказал коземордый, и между прочим, что у них уже начинает распространяться истинная вера и уж он, коземордый, по истинной вере пошел.

Так протопоп обрадовался — просто нету и слов. Вечером, на стоянии, между Евангелий, все думал протопоп:

«Ну, слава Богу, истинная вера пошла и там. А то жалко их было — беда…» — радостно бил протопоп поклоны за истинную веру.

И еще одна в соборе курилась к Богу радостная молитва: Кости Едыткина. Благодарил он за все огулом: и за то, что сподобился от таланта — стихи писать; и за чин четырнадцатого класса; и самое главное — за то, что он стоял сейчас рядом с Глафирой.

В соборе свет, свечи у всех. Протопоп вычитывает страсти не спеша, истово. Костя в новой тужурке, сердце полно. Глаза опустил, сладко видеть Глафирину милую руку; наклеивать, как и она, метинки на свече — евангельям счет; уколоться украдкой о теплый локоть…

От стояния несли домой четверговый огонь. Людей в теми не видать — только огоньки текут. Вот уж в заречье — свернули в проулки — загасли. Тихо.

Костя прикрывал свечу фуражкой. На росстани трех переулков взглянул на Глафиру, все забыл, забыл про свечу — и задуло ветром огонь.

Попросил огня у Глафиры. Дрожали руки, долго не мог попасть. И когда наконец зажег — сладко сжалось сердце у Кости: предвещаньем каким-то, навек нерушимым, было соединение их свечей.

И огненному знаку так крепко поверил Костя, что, нагнувшись к Глафире, спросил:

— А когда же… свадьба?

Раздумчиво поглядела Глафира куда-то мимо Кости и ничего не сказала.

5. Великий язык

Дворянин Иван Павлыч — стал у князя доверенным человеком: от Ивана Павлыча и пошел слух, что на Пасхе объявит князь свою тайну и всех пригласит.

— Да к чему пригласит-то?

— А вот, погодите маленько, все объяснится, — с ехидной приятностью отвечал Иван Павлыч.

Еле дождались Пасхи. День выпал на славу. С утра сусальным золотом солнце покрыло Алатырь — стал город как престольный образ. Красный трезвон бренчал серебром весь день. Веселая зелень трав расстелила сукно торжественной встречи. И напротив самых присутственных мест — топтала сукно свинья…

Князь с визитами ездил задумчив: хорошо бы и правда — в такой день святое дело начать… Но все разговелись усердно, везде на столах травнички, декокты, наливки, настойки: где уж там серьезный разговор завести?

Последняя у князя надежда была — на отца Петра: отец Петр способен — от мира вознестись к возвышенному. Несомненно, способен: человека

по глазам — сейчас видно.

Так рассуждал князь, подкатывая на линейке к отцу протопопу. Откуда ни возьмись — свинья. Хрюкнула зло на лошадь, лошадь — шарахнулась, ляскнул зубами князь, еле усидел. Вошел к протопопу расстроенный.

— Отец по приходу ходит, — вышла к князю Варвара. Повертела лампу в руках, но почему-то не зажгла.

Только тут князь приметил: а пожалуй, ведь поздно. За окном взошел месяц, ущербленный, тусменный, узкий. И таким увиделось небо жутко-пустым, таким замолкшим навек, что схватило горло, хоть вой…

Молчать было жутко. Насильно улыбнул себя князь:

— Я, знаете, к вам на линейке ехал. А на лошадь — свинья кэ-эк хрюкнет… Свиньи у вас борзые какие!

Варвара молчала, глядела в окно на месяц.

— И все у вас какие-то заборы, пустоши, пустоши, собаки воют.

Варвара прикрыла лицо руками и странно сползла со стула на пол. Князь испуганно встал.

— Не уходите… Нет! Нет! — закричала, забилась Варвара.

Такие у ней были глаза, такая жалость заныла в князе, что не было сил уйти. Сел снова на стул.

— Вот, скоро, надеюсь… Начнем общеполезную работу… — забормотал князь, отвернулся: стеснялся глядеть на Варвару, такие у ней глаза…

Показалось, что трется у ног протопопов пес — как же он со двора… Глянул, а у ног на полу — Собачея-Варвара. Ласково скалила собачьи зубы, глазами молила, молила: «Ну, если не хочешь, ты хоть ударь — хоть ударь», терлась о ноги…

Охнул князь, отпихнулся, выскочил без шапки на площадь. Припустился бежать. Да нет, тут что-то не так… Оглянулся: в протопоповых окнах темно. Но в одном темном — или это кажется только? — в темном мечется белое, как мел, лицо…

Красная горка — свадебный день, а в Алатыре не слыхать ни свадебных бубенцов, ни весело-печальных пропойных песен.

— Нет женихов, и все тут… — жалобился князю исправник, сдавая заказное письмо.

— А вы бы их… тово… поощрили властью, от Бога данной.

— Я бы рад, да не знаю как. А то бы… вас первого поощрил, — вдруг, насмелевши, брякнул исправник.

— Что ж, я… я жениться не прочь, — сконфузился припертый к стене князь.

Мимоходный этот разговор, конечно, стал известен всему городу; вновь воспрянули надежды на князя. И когда в пятницу на Фоминой неделе получены были письма от князя с приглашением собраться на почте к восьми по самонужнейшему делу, так все валом и повалили: весь именитый Алатырь собрался.

— Господа! По Евангелию… — у князя дрогнул голос, — несть ни эллин, ни иудей, ни кто там. Все — одно стадо. А что же мы, господа?

Князь строго поглядел на всех. Кто-то сокрушенно вздохнул.

— В стаде — разве по-разному блеют? А мы — кто по-каковскому, всяк по-своему. Отсюда и война, и всякая такая дрянь, а ежели бы как стадо… На одном на великом языке эсперанте весь мир — то настала бы жизнь прекрасная и всеобщая любовь… До последнего окончания мира…

— Господи, а мы-то… Мы давно подумывали, богадельню или бы что. И вдруг — прямо, то есть в самую точку… — растроганный исправник полез целоваться к князю.

А за ним и все зашумели, затеснились к князю, умильно зарились на него, как коты на сметану,

с любострастием лобызали небритую князеву щеку.

Оказался у князя полнехонек лист подписей. Больше всего тут было девичьих имен. Но отрадно, что обнаружилась жажда знаний и во многих почтенных, немолодых уже людях: записался исправник, Родивон Родивоныч, Левин — аптекарь, отец Петр — протопоп, дворянин Иван Павлыч. Князь был донельзя доволен.

Никогда еще в Алатыре не было такого страдного лета. Бывало, румяным летним вечером всяк прохлаждался по угожеству своему. Кто подородней — в чем мать родила попивал квас в садике под яблонькой; кто поприлежней — сидел над синим омутом, выуживая склизких линей; кто посмирней пред супругой — исправника взять — на крылечке исправник чистил вишню владимирку для варенья.

А уж нынче каюк житью прохладному. Как отзвонит в соборе восемь часов, тут какая погода ни будь, соловьи от натуги хоть тресни, а надо идти к князю на учебу. И только в Алатыре трое дурных — в охотку бегут учиться: Костя Едыткин, Глафира исправникова да Варвара-протопоповна.

Костя являлся на уроки неизменно первым. Ревниво стерег он свое сладкое место — рядом с

Глафирой. Приносил Глафирины тетрадки, клал их от себя по правую руку, садился и долго ожидал в тихой теми.

«Глафира — супруга моей жизни, это уж нерушимо. А после ней первый человек — господин почтмейстер, в связи его международного языка. Ежели стихи пропечатать на международном языке, так это уж будут знать во всем мире…» Хорошо — в теми помечтать!

К девяти полыхают все лампы, к девяти — многолюдна почта, больше всего барышень. Шушуканье, шелест шелковых лент, миганье тайных зеркальцев, зависть змеиная к этим бесовкам — к Глафире да к Варваре; всегда назубок все знают, так и чеканят.

— Полюбили, некстати больно, науку…

— Зна-аем мы науку эту самую, зна-аем!

Родивон Родивоныч ходил печальный, жаловался:

— Жизнь-то на старости лет какие преподносит нюансы… из трех пальцев… Сиди вот с тетрадкой. А главное — при моем почти что придворном звании… Нет-ет, я брошу!

А бросить — с князем рассор навек, прощай все надежды. Нет уж, видно, единородных своих ради придется терпеть.

И крепились, терпели отцы. Кряхтя, косоурясь на князя, ладили все примоститься поближе к Глафире либо к Варваре.

— Leono esta forta. La denta esta acra… — расхаживая, громогласно диктовал князь и нарочно крал окончания слов: пусть поупражняются… Счастливым светом сиял его странный, бесподбородочный лик: князь святое дело творил, князь сейчас был первосвященником. Вот еще немножко, лет десяток-другой, и наступит всеобщая любовь.

Проходя мимо Ивана Павлыча, князь приметил:

«Какой у него хороший, внимательный взгляд…»

Внимательным взглядом проводил Иван Павлыч князя, тотчас привстал и запустил глазенапы в тетрадку к Глафире — Глафира впереди сидит.

— Estэ — эс на конце, acra — эс на конце… — шептал Иван Павлыч исправнику.

— Да не слышу же, ч-черт! Громче… — кипятился исправник.

Но князь уже повернулся — и вмиг все гладко и тихо: исправник — над своей тетрадкой; как урытый — сидит Иван Павлыч, с приятностью на лице…

6. Епархия зелененькая

В родительскую субботу — Мишка, бывший столяр, а нынче просто алахарь, бегал по городу с клейстером и клеил афиши на фонарных столбах, на бесконечных заборах. Посреди афиши били в глаза крупные буквы:

А ТАКЖЕ
ИЗВЕСТНЫЕ АНГЛИЧАНКИ СЕСТРЫ ГРЕЙ

Из губернии приехали — показывать туманные картины. Укланяли князя: отменил князь урок всемирного языка, и всем корогодом повалили глядеть эти самые туманные картины.

Как-то случилось — оттерли Костю в проходе, и не спопашился он занять себе местечко рядом с Глафирой; с нею сел князь, а Костя — позади. Рядом с ним оказался дворянин Иван Павлыч.

Хотел Костя загорюниться, что Глафира — не с ним, да не успел: вылезли на полотне, завертелись, зажили, залюбили полотняные люди.

…Неслышно, как кошка, красавица крадется на свиданье к маркизу. Сейчас вот, сейчас ступит на

секретную плиту, сейчас — ухнет плита, глонит красавицу подземелье.

Костя вскочил — может быть, чтобы крикнуть красавице про плиту.

Иван Павлыч осадил Костю вниз за рукав. Но это все равно: красавица видела, как махнул ей Костя рукой, миновала проклятое место.

…И вот — вдвоем. Долго ей смотрит в глаза — маркиз или князь он? — и они медленно клонятся друг к другу, вот — близко, вот — волосы их смешались.

Вдруг Косте показалось, что вовсе это не на полотне, а Глафира и князь: клонятся, клонятся, прижались щекой к щеке…

Мрет сердце у Кости, протирает глаза: приглазилось только или…

Но мигнувший миг — уже не поймать: ярко загорелись лампы, ждет новых людей полотно, Иван Павлыч смеется:

— Хи-хи, чудород-то какой наш Костя: красавицу полотняную увидал — и вскочил. Побеседовать, что ли, с нею хотел?

— Да ведь он же — поэт, поэту — все можно, — заступилась Глафира, она стояла обок князя, очень близко.

«Конечно, попритчилось, приглазилось все…»

— решил Костя по дороге домой. Но червячок какой-то самомалейший — не слушался слов, точил и точил…

В ночь на Покров пошел шапками снег. Выбежал Костя утром — нет ничего: ни постылого проулка с кучами золы, ни кривобокой ихней избы. Все белое, милое, тихое — и какая-то нынче начнется новая жизнь. Не может же быть, чтобы стало так — и чтобы все по-прежнему было?

На Покров Костя обедал у исправника. После обеда сидели в гостиной. Дворянин Иван Павлыч — что-то пошушукался с Глафирой, взмахнул рыжей поддевкой — и подсел к Косте. Разговор повел с приятностью, тонко:

— Вязь-то какая прекрасная, а? Прямо талант, дар божий… — Иван Павлыч любовался вязаной салфеткой. — А-а… вы, говорят, тоже… тово… пишете? — повернулся он к Косте.

— А вы — откуда же… откуда же вам известно? — покраснел от радости Костя.

— Как откуда? Про вас в журналах пишут, а вы и не знаете… — и протянул Иван Павлыч Косте свежий номерок «Епархиальных ведомостей».

В самом конце, после «печатать разрешается», были три неровные строчки: «Что же касается стихотворений молодого писателя Едыткина,

то таковые мы считаем отнести к высшей литературе».

Хотел что-то сказать Костя, но схватило за горло, стоял, совершенно убитый счастьем. Где же Косте узнать, что напечатаны эти строчки в типографии купца Агаркова по личной Ивана Павлыча просьбе?

Ночью Костя — и спал, и не спал. Глаза закроет — и сейчас же ему видится: будто он над епархией все летает, а епархия — зелененькая и так, невеличка, вроде, сказать бы, выгона. И машут ему платочками снизу: знают все, что летает Константин Едыткин.

Ну, теперь уж, хочешь не хочешь, надо писать. Предварительно Костя перечел еще раз «Догматическое богословие» — самую любимую свою книгу, потому что все было там непонятно, возвышенно. А потом уж засел писать серьезное сочинение в десяти главах: довольно стихами-то баловаться.

Писал по ночам. Потифорна самосильно посвистывала носом во сне. Усачи-тараканы звонко шлепались об пол. В тишине — металась, трещала свеча. В тишине — свечой негоримо-горючей Костя горел. Писал о служении женщинам: о любви вне пределов, вне чисел земных; о восьмом

Вселенском соборе, где возглашен будет символ новой веры: ведь Бог-то, оказывается, — женского рода… Так близко сверкали слова, кажется — только бери. Ан глядь — на бумаге-то злое, другое: уж такая мука, такая мука!

В вечер Михайлова дня — Костя публично читал свое сочинение в гостиной у исправника. Бледный, как месяц на ущербе, покорно улыбнутый навеки, стоял — трепетала тетрадка в руках. Поглядел еще раз молитвенно на Глафиру…

— Ну, господа, тише, тише, сейчас начинает, — суетился Иван Павлыч, как бес.

В тишине, чуть слышно, прочел Костя:

— Заглавие: «Внутренний женский догмат божества».

Неслышно-взволнованно горели лампы. Чужим голосом читал Костя. Публика глядела в землю, и не понять было, нравится ей Костино сочинение или нет.

Костя дошел до второй главы, самой лучшей и самой возвышенной: о восьмом Вселенском соборе. Голосом выше забрал, вдохновился, стал излагать проект всеобщей религиозно-супружеской жизни.

Тут вот и прорвало. Не стерпев, первым фыркнул исправник, за ним — подхватил Иван Пав-

лыч, а уж там покатились и все — и всех пуще звенела Глафира.

Проснулась исправничиха, брыкнула свой стул со страху:

— Да что ж это, батюшки, где загорелось-то? — Смех еще пущий.

…Как заяц, забился Костя в запечье, в спальне исправницкой. Голову, голову-то куда-нибудь, главное, спрятать. Голову-то хоть спрятать бы!

Старинным старушечьим сердцем одна исправничиха пожалела, одна разыскала, одна утешила Костю.

— Да что ж это, батюшка, чего ты сбежал-то? Ты думаешь что? Это ведь я со сна чебурахнулась вниз головой, надо мной грохотали, старухой, а ты думал что? Экие гордецы нонче все: уж сейчас на свой счет…

Костя поднял голову, Костя хватался за соломинку, глазами молил о чем-то исправничиху.

Услыхала исправничиха, уткнула себе в колени Костину голову:

— Иль мне уж не веришь? Я не Иван Павлыч какой-нибудь, я обманывать не стану.

— Я ве-ерю… — захлебнулся Костя слезами.

7. В серебряные леса

Вышла зима больно студеная, такой полста лет не бывало. Обманно-радостное, в радужных двух кругах, выплывало льдяное солнце. От стыди от лютой — наполы треснул древний алатырь-камень.

— Ну-у, быть беде, — крушились алатырцы.

А пока, до беды, засели покрепче в мурьях, еще пуще предались сновиденной жизни — всякий своей. Исправник изобретал; Родивон Родивоныч — выписал «Готский альманах» и услаждался; Костя горестно вернулся к стихам; отец Петр беседовал с своим коземордым; все тем же горбоносым горела Глафира; а князь проповедовал великий язык эсперанто…

Что-то рассохлось, разладилось дело у князя. Все чаще на почту приходили кучера — с усами в сосульках — и вручали князю записки: не могу, мол, быть на уроке по случаю внезапной болезни. Вовсе отстал Родивон Родивоныч, не стерпел — исправник отстал, поредели ряды девиц. Князь понял, что надеяться можно только на двух: на Глафиру да еще на Варвару. Вот уж эти действи-

тельно любят великий язык: так и чеканят, так и тачают друг перед дружкой. Улыбался князь то одной, то другой:

— От-лично, пре-красно…

Глафира и видеть не могла теперь Варвару. А Варвара черно-синеволосая, с ласково-злой улыбкой, все лезла к Глафире, все норовила обнять. Не стерпев однажды, Глафира сказала:

— Ты что лезешь? Думаешь, я не знаю, кто мне на Масленой платье почекрыжил? Зна-аю, голубушка, знаю!

— А я, думаешь, не знаю, как ты себе бороду на подбородке стрыгешь? Ште, съела?

С той поры — ни слова: конец. И только при встречах, как гуси, зловеще шипели…

После уроков, усталый, расхаживал князь по почте. Трудно, ох как трудно! Но все-таки на один день ближе к тому празднику, к той светлой Пасхе, когда кликнут все на одном языке, запоют и обымут друг друга, и кончится старая жизнь.

На полу — окурки, крошки (ученикам полагался ситный от почтмейстера и чай), шпильки, бумажки. Князь рассеянно подымал, разглядывал. Рожки, росчерки. «Кн. Екатерина Вад.». «Катька, ты дура набитая». «А я его все-таки обожаю». Попадались часто записки отца Петра — к соседу

его по урокам аптекарю Левину… «А вчерась явился он мне телешом. Это уж пакостно даже глядеть. Не ведомо ли какое-либо от искушений медицинское средство?»

Но все это так, пустяки. А вот последнее время — в самом деле, какие-то странные пошли записки. Находил их князь на своем столе, под подушкой, в карманах: Бог их знает — как туда попадали. Чуть-чуть надушены были эти записки и всегда — на великом всемирном языке.

— Mi amas tin, amas, amas — a… a… a… — amas, — подряд без конца. Нарочный, изломанный почерк.

Под великим секретом — показал князь Ивану Павлычу, Иван Павлыч кряхтел, и без лупы разглядывал, и в лупу:

— Исправникова Глафирка, голову даю на отсечение! Кому же еще по-эсперанту так ловко?

А назавтра — новое князю:

«Милый, милый — я тебе все…»

И конец. И молчок. Расхаживал князь, счастливый.

«Милый, будет ночь, темно, и все, что велишь…» — и конец, ни слова.

Кто научил ее так — лукавому знать. Будто вот плясала перед князем, вся в черном. Вдруг

откинула складки — сверкнуло на черном розово-нежно. И конец. И снова колышется тяжелый покров, и манит, и манит без конца глядеть, не мелькнет ли еще…

Длинным вьюжным вечером смотрел князь в узорно-морозные окна, потихоньку бродил меж серебряных деревьев — и все возвращался к одному: к несказанному, к мелькнувшему. Ее — никогда не называл князь: Глафира, — как Иван Павлыч, а всегда говорил: она.

Неприметно и плавно, как цветы расцветают, она медленно зрела из исправниковой Глафиры — и вот в декабре она уже стала жить самолично, сама по себе.

По-прежнему все записки от нее написаны были на эсперанто: получи теперь князь от нее хоть слово по-русски — он счел бы это противоестественным, был бы даже оскорблен. Помалу связал ее князь с великим языком воедино.

Всякое эсперантское слово — теперь вдвойне сладко князю: ведь это — ее слова. В ее синих, глубочайших глазах — пленен весь мир. И равно — всем миром владеет язык эсперанто…

«…Да что — всем миром: всей Вселенной. На Венере какой-нибудь, венерические тамошние жители — тоже, поди, эсперанто знают. А как же?

Обязательно знают».

Так мечталось князю. Так все дальше в серебряные леса уходил князь от скучной правды. Бывшей правде, княгине, проживавшей в Сапожке у отца своего — протоиерея, князь давно уж и писать перестал. Избегал он и Глафиру видеть с глазу на глаз: может, и правда — Глафира пишет записки, но не надо это *знать*.

Вечера князь просиживал дома, а за полночь — шел гулять. Ночью удобно думать: пустые, просторные, снежные улицы, влекущие огни лампадок в окнах, бродил и бродил.

…А следом за князем, темной тенью у стен, крался Костя. Тенью за князем Костя следил теперь и денно и нощно: надо узнать наверняк, что у него с Глафирой. Хоть самое… хоть самое страшное, да только бы наверно. Без наверного — совсем невтерпеж. Глафире хоть Костя и верит — как же не верить-то, господи? — но вот Иван Павлыч говорит, что она…

Дворянин Иван Павлыч — добрейшей души человек, но есть за ним грех: медом его не корми, только бы над кем шутку сыграть (над ним самим-то — больно много шутили).

В запрошлом году Иван Павлыч подъехал к Агаркову-гостинику, к градскому голове: подпали

да подпали амбар агарковский старый.

— Во-от, не веришь, чудак! — улещал купца Иван Павлыч. — Страховые за амбар огромадные, новый-то амбар возведешь вдвое ширьше…

У Агаркова борода лопатой, а ума не богато: поверил Ивану Павлычу, запалил свой амбар. И самое когда это подпаливать стал, нагрянули тут, раба божия — под белые ручки да на цугундер. Дорого купцу новый амбар обошелся: куда там — страховые! А уж кто это начальство уведомил — Агарков так и не дознался. Сам Иван Павлыч повинного взялся искать, ну даже и он не нашел.

А то вот еще с чиновником Зюньзей случай был. Смеха для — проказник какой-то подметное письмо настрочил чиновнику Зюньзе: так, мол, и так, жена-то твоя тово… кургузит, а ты, мол, и ухом не ведешь? И назавтра чиновник Зюньзя выволок молодую наружу и при всем честном народе стал ее учить. А народ — как будто бы повещен, без числа собрался: уж было потехи!

– …Да, брат Костюня, Глафирочке твоей нынче аминь! — подзуживал Иван Павлыч, подталдыкивал Костю. — Нынче в четыре часа пополудни — решительное свидание… Чуда-ак, да ведь князь мне записку показывал, как же не знать-то? У алатырь-камня свидание, и оттуда — ау: само-

круткой да к князю на почту, так-то-с вот.

Костя покорно плелся к алатырю-камню. В синих сумерках бродил Костя час и другой. Тихо сыпался снег. Тихо точила тоска. Рассевшийся наполы темный алатырь — вещал беду. Навалился алатырь — сонный медведь — под себя подмял: продыхнуть невозможно.

Никакого свидания, никто не приходил. Поздним вечером Костя, весь замерзший, тащился на почту: там теперь, в боковушке, жил Иван Павлыч.

— Ну что, брат Костюня, никого? Эх ты, господи, стало быть, ослышался я: это завтра… Эх, я какой!

— Это вы нарочно все, Иван Павлыч.

— Это я-то нарочно? Я ему по дружбе, а он на-ка: нарочно. Эх, Коська, не знаешь ты, какой я есть, Иван Павлыч…

Ставил Иван Павлыч бутылку на стол. Костя пил. Едучим дымом застилался весь свет, и в дыму возникал светлый лик владычицы, сладкой мучительницы, Глафиры.

Посыпая тетрадку слезами, декламировал Костя:

В моей груди – мечта стоит,

А милая Глафира – ко мне презрит…

Выпивши, Костя спал как убитый. Но не было покоя и во сне. Присыпался все один и тот же, несуразный и будто ничего не значащий сон: забыл будто Костя, как его зовут, забыл — и весь сказ, и весь страшный сон тут. Но таким стоном охал Костя во сне, что Потифорна принималась его будить. Оно хоть и жалко — будить, но слушать стон — еще жальче.

8. Святочные происшествия

Господи, да ведь нет ничего проще, как из обыкновенной холстины — приготовить наилучшее непромокаемое сукно. Удивительно даже, как раньше Ивану Макарычу это в голову не пришло: давно бы двести тысяч в банке лежало.

Заперся в кабинете Иван Макарыч и сел записывать, пока не забыл:

«Для сего надо в первую очередь изрубить возможно мелко потребное количество высшего английского сукна. Засим холстину намазать клейким составом, который содержит: во-первых, двенадцать долей именуемого в просторечии сапожного вару…»

Построил Иван Макарыч непромокаемое сукно — и решил оказать всенародно свое великое изобретение. На Святках, на третий день, позвал исправник гостей, позажег в кабинете лампы со всего дому. Кошкарев, околоток, в белых перчатках, высоко напоказ — поднял мешок из исправникова сукна, полный водою. До того удивительно: держалась вода, как в хорошем ведре.

…А на пятой, на последней минуте — сукно-то

возьми да и промокни, при всем честном народе. Ах ты, сделай одолжение! Глядит на ручьи исправник — будто ручьев никогда не видал, только ватные брюки свои подтягивает.

Гости смолчали, никто — ни смешинки.

— Вода… неподходящая, должно быть. Разная она бывает — вода-то, — с приятностью сказал Иван Павлыч.

Тут уж протопоп отец Петр — не стерпел, засмеялся. А ему ведь только начать смеяться, а там и не уймешь: смешливый. Трясется, стоит — весь обсыпан смехом, как хмелем, мохнатенький, маленький — звонит и звонит.

Исправник — инда пополовел. Дверью хлопнул — только его гости и видели.

Вышло это на третий день, а на четвертый продолжались святочные происшествия. На четвертый день — протопоп кончил ходить по приходу. Изусталый вернулся домой. Пообедал изрядно, баклановки рюмочку выпил, разоблачился — и лег отдохнуть.

И часу этак в шестом — произошло: явился *он* телешом, и был *он* теперь в женском образе. Вся та поганая баба была, как киноварь, красная и так мерзостно вихлялась, что терпеть было нельзя ни минуты. Отец Петр — подавай Бог ноги: выскочил

вон без оглядки, весь в белом, бежал-бежал…

Человека, одетого противозаконно, полицейский поймал возле алатыря-камня. Поймал и тотчас предоставил к начальству.

И как исправник был еще во гневе, то он и потребовал:

— Паспорт имеешь? Ты из каких будешь вообще?

— Иван Макарыч, Бог с вами, да ведь это же я, это я…

— Я вижу, что я. Якать-то всякий умеет. Ты мне подай вид на жительство!

Кто же с собой вид берет, убегая от наваждения дьявольского? Нет уж, видно, придется протопопу ночь ночевать в кутузке.

А в протопоповском доме Варвара накрывала к вечернему чаю. Поставила загнутый на четыре угла пирог — с четырьмя разными начинками; поставила баклановку в глиняной сулее; поставила кусок мороженых сливок — и пошла протопопа будить. А протопопа — и след простыл: брюки тут, подрясник — тут, а самого — поминай как звали. Побежала Варвара гончей по отцовым следам. Ворвалась к исправничихе, всполыхнула ее своей жалобой, исправничиха покатилась и грозно насела на исправника:

— Да ты что же это такое? С последнего спятил? В кутузку — отца своего духовного, а? Сейчас чтобы лошадь велел запречь и домой отца протопопа доставить… а то — знаешь?

В гостиной, в углу, Варвара ждала резолюции. А к Варваре спиной — у окна закаменела Глафира, будто и не видит Варвары. Но вошедшей исправничихе был явственно слышен зловещий гусиный шип.

Распалилась исправничиха — решила уж заодно вычитать все и Варваре.

— Ты что у меня там с князем ворожишь? Какие такие записки?

— Ваша Глафира пишет — это все говорят, а я виновата?

— А ну-ка глянь-ка мне прямо в глаза, ну-ка, ну?

Но глаза показать Варвара не хотела: неведомо как проюркнула мимо слоновых растопыренных рук, вильнула хвостом — и была такова…

Про записки на великом всемирном языке, которые князь от *нее* получал, в самом деле по городу шел слушок, хотя это дело князь держал в строгом секрете, только одному Ивану Павлычу и доверил. А знали — все, даже и это, что она назначала свидания князю, а князь не ходил.

Не ходил князь. Жалко было князю рушить взлелеянный нежно обман. И знал, что неловко не ходить, знал, что ждала. Но не мог, не мог князь, жалко было пойти.

Под Крещенье — опять получилась записка. Нарочно, чтоб сладко помучиться, князь не распечатывал записку до вечерней звезды. Распечатал — и…

«Я тебя, проклятого, целый час ждала, — на морозе-то, думаешь, сладко? Тоже называется — князь! Ну, если завтра не придешь на то же самое место, вот, ей-богу, уйду — и больше ни писать, ничего. Наплевать, не больно нужен-то, хоть будь ты раскнязь».

И это было уж не на великом всемирном языке, а на грубом земном. Это уж — не она, она — умерла. Теперь — все равно. Ну что ж, можно и пойти, все равно.

Назначено было: в девять часов утра, на катке. Не спалось, князь вышел задолго. Солнце горело обманным льдяным огнем. Колокола пели холодными голосами.

Приглядевшись получше, почтмейстер приметил: на снегу — как запах — легчайшая алость, смертный румянец зари. Вздохнулось…

В углу на катке — конурка, вроде собачьей:

грелка, а также обитель татарина — держателя катка. На лавке возле конурки — в валеных калошах сидела *она*. Черно-синие космы волос, собачьи глаза.

— Варвара Петро… — остолбенел князь. «Бежать, бежать…»

Но глаза — такие были глаза у Варвары, так молила: «Ну, хоть ударь, господин мой, хоть ударь…» Не мог князь уйти, разрушенный весь дотла — остался…

В соборе к водосвятию звонили — медленно, мерно. Все готовили — кто кувшинчик, кто чайник — ринуться благочестиво к чану с святой водой. А Костя, бросив свою посуду, во весь дух бежал из собора: только сейчас ему Иван Павлыч сказал всерьез, что на катке — решительное свидание у князя с Глафирой. Не хватало дыханья — хлебал Костя воздух ртом, как рыба. Сейчас — все конец…

И вдруг вместо смерти — жизнь: на катке — Варвара. Князь и — Варвара, Варвара, вот кто! А Глафира…

— Прости, прости, богочтимая, — с катка мчался Костя к Глафире…

Оголтело влетел в светелку — и бух на колени:

— Прости, прости, богочтимая!

Глафира перед зеркалом выстригала волосы на подбородке: растут и растут, проклятые. Поглядела косо на Костю, на руки, молитвенно сложенные, на слезинки между веснушек, на озябший, жалостный носик:

— Ну, чего разнюнился-то?

– …А на катке-то Варвара с князем, вот кто: Варвара… Прости, богочтимая… — блаженно, с закрытыми глазами Костя стоял на коленях.

Сверкнуло зеркало вдребезги об пол.

— А-а, на катке-е? Да пусти ты с дороги! Ну? Пусти… — Глафира отпихнула Костю и помчалась туда.

Молния ночью жигнет — и все видно ясно: листок на дороге, седой волос в виске, вихор соломы под застрехой. Так вот и Костя сейчас: все до капли увидел…

Потифорна пришла домой с базару, веселая. Базарным дробным говором застрекотала:

— Костюнька-а, происшествие-то нынче какое, слыхал? На катке-то?

Костя лежал на укладке — поднял голову…

– …Поцапались за князя, ну и бесстыжие, а? Клубком завились, по катку покатились, ну, срамота-а! Варька, Собачея-то, в кровь искусала исправникову. Вот он — князь мира-то сего,

дьявол-то!

Костю вдруг осенило: князь мира сего, вот оно что ведь. И язык его этот самый… Всех погубил, всех опутал — князь мира.

Утром Костя встал чем свет, прошел на цыпочках мимо мамани, подмигнул ей прехитро — и марш на почту.

На почте еще ни души. Один сторож Ипат — подметал полы. Тот самый Ипат, какого собака-то бешеная укусила. Вылечиться — хоть вылечился Ипат, но по сею пору считался опасен, и рисковала держать только казна.

Нанес Костя снегу, Ипат заругался. Но Косте было не до Ипата… Сел за свой столик, взял телеграфный бланк — и на нем написал письмо. Слова сумасшедшие скакали, иные были — на языке, ведомом одному Косте. Но все же разобрать было можно: Костя открывал князю, что он, князь — есть диавол, князь мира, и подлежит…

Князь мира вошел. Сел за свой стол, печально-рассеян. Поглядел на пустое Глафирино место. Стал составлять телеграмму в город Сапожок.

Костя молча подал князю свое письмо. И когда князь изумленно перевел на Костю глаза — Костя взял со стола стальную линейку и замахнулся. Князь прикрыл руками голову, положил ее на

стол и покорно, не шевелясь, ждал. И так Косте стало жалко его — хоть он и князь мира — и жалко себя, и Глафиру, и весь Алатырь, что выпустил он линейку из рук и завопил смертным голосом:

— Пропали мы! Пропали, пропали…

Громыхнула линейка на пол.

Костю вели в острог — окружили толпой: не вырвался бы, убивец проклятый. Ну, и народ же нынче пошел… а еще чиновник! На князя нашего покусился, а?

Алатырь проснулся, галдел, махал руками. Поднимались на цыпочках — на убивца поглядеть.

— Ты гляди, Ипат, не упусти! Держи его крепко, — кричали Ипату, бешеному.

— Я крепко и то… — и, поглядев исподлобья, Ипат — невзначай будто — сунул Косте пятак: бери, пригодится.

Костя покорно взял пятак, улыбнулся покорно. Но тут же и разжал руку. И пропал Ипатов пятак: затоптали.